

КОФТА МАМИНА

Помнится – конец октября. Подходит мама и говорит: «Сынок, съездим за чащёй на пригон, на крышу». Колхозная кобылка Гнедка, что по работе была закреплена за мамой вместе с фургончиком, не торопяся зарысила в направлении леса.

В оголевшем лесу было грустновато и пасмурно. К тому же, кралась уже вечерние сумерки. На сене в фургончике вроде бы уютно и мягко, хорошо рассматривать окрестности: вон стожок с ястребком на верхушке, осиновый околок, где собирали грибы и костянку, лишь несколько листочков красных повисло на ближайшей осине, цветущие летом луга сменили краски на жухлые, серо-жёлтые. Осень...

Лёгкое движение прохладного северного ветерка со временем несёт озноб и холодит. Мама сидит впереди и управляет лошадкой. Гнедка бежит и пофыркивает довольно: в лесу ещё можно поесть травки непожухлой, а если – к хлебному полю, уже сжато, то там копны соломы пахнут хлебушком, мякинкой, можно и колоски цельные найти. Вкусно...

Едем к Андриковскому каналу, где много рослой ивы. Такую чащу нам и нужно, чтобы поверх жердин крыши пригона уложить по всей длине и накрыть соломой. Ехать интересно. Не прохлада бы, которая всё сильнее ощущается под кепчонкой, ушами моими и шеей. На мне маломерная солдатская телогрейка защитного цвета, но для меня, шестилетнего, – великовата, хотя в ней тепло. Ноги – другое дело, они почему-то мёрзнут. Обувка – рыжие сапожниш-

ки из желтой самодельной грубой кожи, на подошве из такого же материала, прибитой берёзовыми гвоздиками, изготовленные местным умельцем дедушкой Касьяном. Сапоги жмут и кожа как жёсть, не смотря на то, что мама перед этим несколько раз их пропитала берёзовым дёгтем. Жмут они ноги и холодят. Терплю, надеясь, что «вот приедем, нужно будет ходить, и ноги мои согреются»...

И вот мы на левой стороне Андриковского канала. Слева – лес глухой, перед ним трава в рост человека, а в русле канала с остатком воды рослый ивняк. Гнедка, распряжённая мамой, с храпом набрасывается на непожухлое здесь ещё, в затишье, сочное разнотравье. Мама среди трав прошла к ивам, раздаётся звон топорика – рубит. Мне нужно подтаскивать чащу к фургончику. Охолодевшие, сжатые жёсткими сапогами ступни не чувствуются. Но я подтаскиваю чащу к фургончику. Её нелегко носить по спутанной траве, да ещё, ступив в воду, сапожнишки мои дали течь по швам, смочив портянки. Ногам стало ещё холоднее и теснее.

Но я подношу чащу, как ни в чём ни бывало, хотя уже и терпеть невмоготу. Ношу тяжёлую чащу, и, наконец, сажусь на травяную кочку – терпеть уже нет сил.

Участливая Гнедка, тут же перестав жевать, подступила ко мне, обдав моё лицо горячим дыханием, смотрит сострадательно, опять жуёт. Я пытаюсь снять сапоги, ставшие теперь орудием пытки, больно жмут, нестерпимо трут, от холода ноги вовсе занемели и стали бесчувственными. Но не тут-то было. Намокшие портянки сбились, больно до слёз, а снять эти

колодки с ног не могу. Хоть плачь, но и плакать стыдно.

Наконец, мама окликает меня. Я отвечаю ей сдавленным, полным страдания, голосом. И она тут же появляется с ношей чащи на плече и топориком, запыхавшись, спрашивает: «Сынка, что с тобой?»

Я киваю на сапоги, она поняла, потянула за мокрые сапожнички, пытаюсь снять, что удалось совсем легко.

Наконец, разутый, босой, с мокрыми штанинами и ступнями я лежу на траве, сташенный мамой с кочки за эти самые сапоги при снятии.

Стало необычайно легко. Лежу...

Темнеющее небо, верушки осенних деревьев и трав. Участливое лицо мамы и жующая траву Гнедка, склонившаяся надо мною.

Из фургончика мама принесла охапку сена, и, усадив меня на кочку, подложила мне под ноги, замотанные уже своею старенькой шерстяной кофтой. А сама грузила и увязывала в фургончик стасканную чашу...

Спустя время, ноги мои отогрелись, так удивительно быстро.

Обратно ехали в возке, груженном чащей, хорошо увязанном, не очень удобно, но не тряско, высоко, откуда лучше видно холодеющие, вечеряющие окрестности. А мои ступни хорошо грела мамина тёплая кофта.

Через день мы с мамой разложили на перекрытие пригончика для скотинки привезённую чашу, накрыв её соломою, утеплив пригончик таким образом на зиму.

Теперь уже прошло столько лет, а мне помнится и восхищает находчивость мамы. Помнятся и эти рыжие сапожнички, холодные сумеречные небеса, а в них оголённые верушки осенних деревьев.

И...мамина кофта, такая тёплая, греющая мои ноги. Будто сама мама.

В. Рязанов

ГОРЛИНКА

Из цикла: «Запахи детства»

Отец любил почудачить, но чудеса исходили не из придуманных им небылиц или новостей. Они исходили из реалий и предназначались нам, детям. Помню ещё мальцом, как из газет и сбораний колхозников говорилось об угрозах атомной войны, которой грозила Америка. Кажется, тень такой войны в те годы имела определённые реалии. Помню – тогда по ночам летом, мне, тогда 5-6-летнему парнишке не давало покоя постоянное гуденье самолётов, по звукам – чужих и зловещих в тёмных ночных небесах, а то и – днём. Да ещё – далёкие зарницы... Всё было тревожно...

Тогда, до сбития самолёта У-2 со шпионом Пауэрсом в районе Свердловска, американские самолёты спокойно почти, без серьёзных опасений барражировали в нашем воздушном пространстве, ведя разведку.

Так вот, о чудесах: однажды рано утром отец, тогда уже не очень здоровый, пришёл с огорода и объявил: «Пойдёмте собирать подарки в огороде – Америка ночью сбросила». По-видимому – была такая реальность, отец-то

был неглуп, следил за газетами, и был один из образованных в деревне.

Подарки оказались колорадскими жуками на нашей картошке. До этого о них у нас и слыхом не слышали и представленья не имели.

Лето выдалось жаркое и помню – тогда чашенько пришлось собирать этих насекомых с наших картофельных кустов. Позже, после нескольких суровых зим, они сами исчезли.

И ещё о чудесах: однажды отец по делам ходил в соседнюю Верх-Ичу, а возвращаясь, увидел на дороге возле болотинки восемь диких крошечных утят чарушек без утки, к которым уже со всех сторон из трав подступало воронье. Стало ясно – утята сиротели и им грозит гибель.

Решив, что утят надобно приютить, отец каким-то образом, чего уж это ему стоило, изловил всех серых этих крох-сиротинку, посадил в свою матерчатую погранцовскую шляпу. Чего, может быть, и не надо было делать – проще было бы сопроводить крох к болотине – там они хищникам менее досягаемы, потому как с ними он принёс в дом массу хлопот. Дикарята прятались в доме по любым уголкам, нужно было их оборонять от кошки, они постоянно пищали и шлёпали перепончатыми лапками по дощатому полу, беспокоя всех, отказывались есть размоченную крупу. Ребятня – мои сверстники гурьбой вылили поглазеть на них.

Но выручило то, что к этому времени вывела утят домашняя серая утка. И дикарята, хотя и державшиеся своей стайкой, как-то примкнули к этому семейству. Благо – река рядом – все уходили к воде, где плавали и кормились. Но приёмышы постоянно держались у воды, когда домашние выходили к дому. Так и выросли все восемь уточек – чирков, а став на крыло, осенью улетели, примкнув к пролетающим сородичам. Сохранились всё же, благодаря отцовской находчивости...

А вот и ещё одно из отцовских чудес. Ну, чем ещё мог нас удивить отец-инвалид в нищей колхозной деревне?

Однажды из окрестных полей, с луга ли, принёс отец необычную, похожую на голубя птицу с повреждённым крылом и посадил на пол перед нами с сестрёнкой.

– Горлинка, сказал отец, кивнув на очередное из чудес с сизыми пёрышками. «Горлинка» – что-то отозвалось во мне, что-то о такой птице не слышан был я.» Наверное, что-то связанное с горлом. Но о каком горле речь? Птица изящная, сизенькая, и горлышко, и шейка аккуратненькие, глазки радужные, серые ножки, изредка издаёт какие-то звуки, похожие на воркованье, оканчивается на высокой приятной нотке. Видимо, страдает от боли и беспомощности, но уже и не дичится.

Пробовали давать ей зёрна пшеницы, кажется – не хочет. Воду из плошки пьёт, поднимая при каждом глотании высоко клювик. Накопал я дождевых червей, кормить надо горлинку. Сначала птица не поняла, чем её угощают. Но, зашевелившись, черви вызвали у неё аппетит.

Поклевав червей, птица приободрилась. И мы облегчённо вздохнули – поела птичка, значит – жить будет...

Как-то, озоботившись, отец взял птицу на руки, стал рассматривать искалеченное крылышко. Отдал аккуратненько птицу мне. А

сам шагнул к шкафчику на кухне, откуда вышел, держа в искаленных пальцах четушку с остатками водки. Взяв опять птицу у меня, попросил найти иголку с ниткой. Налив в блюдечко водки, он приказал иглу с ниткой опустить в него. Затем, зажав под рукой горлинку (пальцы не слушались), и, расправив аккуратно повреждённое крылышко, он приказал смочить водкою же место перелома крылышка, что я и сделал. Затем скрюченным пальцем указал место на сломе крылышка - определённно и точно: «Шей...»

Сестрёнка, наблюдавшая за всем этим из-за моего плеча, отшатнулась. Я тоже оторопел: шить как? Ведь ей больно! Но отец прикрикнул строго: « Говорю... шей!»

Дрожащими пальцами я проткнул живую плоть птицы. А указания сыпались чётко и строго: «Шей здесь... шей тут...»

Наконец, крылышко сшито и крепко стянуто нитками. Под последние стежки отец присунул щепочки, заготовленные из донышка спичечного коробка, чтобы слом крылышка не провисал, велел крепко их стянуть стёжками, и проследил, надёжно ли я завязал последний узелок.

Птица, не смотря на боль, как бы понимая важность момента, вела себя терпеливо.

Закончив операцию, отец остатками водки смочил место шивки крыла и вздохнул с чувством исполненного долга, похвалил меня.

Наконец пациентку отпустили, она пошла по избёнке, крылышко теперь не волочилось, и не отягощало болью, и, казалось, она явно приободрилась.

Через несколько дней страдалицу было не узнать. Смотрела бодро, прохаживалась горделиво. Принесённых насекомых ела с аппетитом, размоченную ячневую крупу клевала. А когда стала пытаться припорхнуть на крылышках, отец заулыбался: « Дело — на поправку, пора и выписывать из госпитала...»

Нам с сестрёнкой было жаль расставаться с птицей, но мы радовались её выздоровлению. А птице уже казалось тесно в доме, да и опека наша ей уже надоела...

Прошло две недели. И отец утром решительно взял птицу в руки: «Снимем-ка швы... И опять приказал: « Возьми-ка лезвие». Дрожащими руками я в этот раз аккуратно срезал с ранки нитяные стёжки, вытаскивал нитки, и стягивающие слом крылышка, щепочки. И всё это отец опять смочил остатками водки.

Горлинку отпустили на пол, выглядела она теперь вполне здоровой. Через день она уже издавала громкие и радостные звуки, похожие на воркованье. Пыталась выпорхнуть в окно, но ударившись о стекло, повторяла и повторяла свои попытки.

Однажды в полдень отец торжественно произнёс: «Пора горлинку на волю выпустить». Обсудили и решили выпустить поближе к лесу, подальше от деревни, обезопасив, как казалось, ещё слабую птицу от кошек и собак. К Андриковскому каналу, поближе к лесу, где отец и подобрал покалеченную птицу, где меньше всяких обитателей. Птицу нёс я, следом шли сестрёнка и отец.

Дошли до нужного места. Отец оглядел окрестности, взглянул в синиеюие небеса — нет ли хищных птиц поблизости, этого бича для всех ослабших обитателей природы, которая

цвела и звенела звуками заматеревшего лета. Закурив, отец что-то ещё обдумывал, зорко озирая небеса. Потом, затушив окурок, кивнул на присмирившую в моих ладошках птицу, озаченно произнёс: «Пускай!»

Я высоко подбросил горлинку, она, кажется, ещё не поняв воли, какое-то мгновение стала падать со сложенными крыльями, но... вдруг распахнув крылышки, вольно и широко устремилась в полёте, издав радостный возглас, и, набирая высоту, удаляясь, превращалась в маленькую точку.

Сестрёнка всхлипнула, отец смотрел с восторгом на устремившуюся ввысь эту точку, а мне было не понять — какие чувства боролось во мне. С одной стороны радость — птица выздоровела и возвратилась в свою среду обитания, на волю, где найдёт своих сородичей. С другой — в горле торчал горький ком — жаль как-то было расставаться с этой симпатичной обитательницей нашего дома, где все привыкли заботиться о ней.

Назад шли молча. Но вот, сестрёнка, указывая пальчиком на небо произнесла: «Вон... вон она...» Одинокая птица стремительно неслась мимо нас в обратном направлении. Да, это была наша горлянка.

И я подумал: «Удачи тебе, сизая птичка...»

И исчез тот горький ком в горле — птичка жила и здорова нашими усилиями. И стало легко на сердце от этой реальности. А наши заботы и привычки заботиться — какая мелочь!

МАСЛЕНИЦА

Проснувшись, увидел белёный потолок. И такие же бревенчатые стены. На кухне у большой русской печи уже возилась мама, там же горела керосиновая лампа, и её домашний неяркий свет колыхал тени. Ещё было темно. Сон, сон...

Сквозь него я какое-то время ощущал звуки, запахи доносившиеся из кухни — осторожное постукивание поленьев, нагретых в помещении за ночь, что я принёс с поленицы вечером. Отсыревших от мартовского ослабевшего морозца, но тогда всё ещё ядрёно скрипевших седым инеем в охалке. Запах зажженной русской печи, подостывшую за ночь. Потом уже, в моём сонном воображении, всё ещё достоверно ощущались действия мамы на кухне, подкрепляемые звуками и запахами...

Большая печь, нагреваясь от разгорающихся дров, начинала отдавать тепло. И я во сне это тоже чувствовал. Хотя сон у подростка крепок... Я же в гостях, у себя дома... Странно — путается в моём сонном сознании — в гостях и... дома... И всего-то один день — в воскресенье. А потом опять — в школу, на квартиру, в соседнюю Верх-Ичу. Там мы, соколовские ученики, учимся в пятом классе, живём на квартирах...

Вот мама, кажется, осторожничая, льёт что-то — булькает, размешивает, туда же, кажется, сыплет что-то — шуршит... Муку, наверное, и острожненько размешивает — о край большого блюда постукивает деревянное весёлко. Это я

так догадываюсь. Это я всё едва слышу сквозь сон, а уж делаю выводы – спящим умишком, имея в виду, что мама вчера сказала, что завтра – Масленица. И, стало быть – собирается печь блины...

Слышу ещё, чувствую – прихватывает сковородником большую чугунную сковороду, ставит её в печь на угли. Опять размешивает жидкое блинное тесто – плюхает и постукивает мягко деревянное весёлко. Опять слышу – плёт тесто на раскалённую сковороду. Тесто шипит, источая аппетитный запах будущего блина. Сковорода, ловко подхваченная сковородником, едва, чуть звякнув, уже шуршит назад по поду печи. Задвигаемая – к жару...

Далее я уже ничего не слышу, не ощущаю. На рассвете сон крепок необычайно и безмятежен. Но сквозь него ощущаю – пахнет-то вкусно – вкусно! Сквозь счастливое сознание, что я – дома... И ещё я чувствую – вот встаёт уже солнышко и освещает ещё зыбким светом изза горизонта синие мартовские снега в округе, зимние леса и речку с заснеженным синим руслом. Далее сквозь сон соображается – синие эти снега, подтопленные днями набирающимся сил мартовским солнышком, а ночами схваченные морозцем, теперь будут держать наст, и можно по сугробам бегать уже и без лыж. А это так здорово! Бежать не проваливаясь во всю мочь по чарыму по огородам в поля. А следом и побежит мой неотлучный пёс Волчок – большой молодой и добрый. Мохнатый сторож – в дом, ограду незнакомых никого не пустит. Курицу чужую даже, нечаянно забредшую – не искалечит, не разорвёт, но она без хвоста умчится восвояси – уж непременно...

Сладко-то как дома... Хочется и ещё бы полежать на печи...

На том сладкие грёзы и кончаются...

* * *

– Подъём, – команду себе. Хотя меня никто не заставляет вставать.

Плещу водой в лицо из рукотомника. Мама над стопкой готовых блинов, сказочно пахнущих, услышав мою возню, пыталась удержать меня: «Ба... Батюшки, куда ты? Поешь хоть...»

– Потом, – отвечаю я, – и быстренько одеваю – свитерик, брючишки, ватная телогрейка, кроличья шапка, валенки и – уже на улице...

Красное-красное солнышко, ещё только край, краешек выкатывается на востоке, будто раскалённый диск огромных размеров – изза снегов, лесов, гор и океанов. Уже и мне показывает свой симпатичный лик. Будто раскалённая мамина сковорода, на которой она печёт блины. В студёном воздухе – тихо, далеко оно – за березняками, снегами и рыжими бурьянами. Освещает и радует, оживляет родимые окрестности, возвещая начало нового дня. И вспомнил я – сегодня Масленица...

Волчок, прозевавший меня в теплой сенной норе, сначала виновато подошедший, кажется, ещё не проснувшийся, зевающий и потягивающийся, теперь прыгает в буйном азарте вокруг, пытаюсь лизнуть меня в лицо. Вдруг тоже стаёт как завороченный, и смотрит, смотрит в ту сторону, где выкатывается красный диск светила, замерев – смотрит неотрывно. Туда – через замерзшую, занесённую снегами реку, где го-

лубые снега, бурьяны и берёзовые леса – на увеличивающийся багряный диск. Где какие-то зимние птицы кружат над бурьянами поля, садятся на них, попискивая, выискивая сохранившиеся семена, свою желанную скудную пищу, осыпая иней.

Во мне же полно сил и азарта, и ноги мои никак не стоят на месте. Словно чую это, и пёс, тоже переживающий это, оставившись всё ещё на солнышко, вдруг замечает копошащуюся над бурьянами стайку снегирей.

– Г-г-ав... Гав... – оглушает он меня громовым своим голосом и срывается с места – туда, через реку...

Но твёрдому, белоснежному и крепкому, как асфальт чарыму*, мы смело летим под гору, не проваливаясь и не застывая в снегу, сознавая, что он глубокий, но крепкий настом. Вот уже и на том берегу, где Волчок в азарте разогнал птиц с бурьянов, а те, чуток отлетев, опускаются не вдальеке – на ещё более густые. Пёс смотрит на них, переводит взгляд на меня, высунув дымящийся розовый язык. Я кричу, зову: «Волчок, Волчок... – так просто. И он срывается из всех сил ко мне. И вот уже скачет вокруг – мохнатый, белозубый красивый и верный, преданный зверь. Отчего мне невыносимо приятно и радостно...

Я же не останавливаюсь, бегу и бегу. Бежать легко в валенках но не проваливающемуся снегу, дыша весёлым бодрящим морозцем, сквозь рыжие бурьяны со взлетающими пташками, встречь солнца, на глазах наших – увеличивающегося.

– Гав, гав! – в азарте заливается мохнатый друг и, резко развернувшись, в прыжке целует своим языком меня в раскрытый рот. Я отплываюсь. Хотя – чего там! Краюшку хлеба мы с ним иногда по очереди кусали, когда он был поменьше, совсем юным! Отмахиваюсь, и – бежим, бежим в сторону всё растущего солнышка по крепким синеющим мартовским снегам...

Наконец, в бездонной моей груди от везенного бодрящего воздуха стало тесно. И тут, откуда-то из бурьянов выпрыгивает заяц, и, не забывая петлять и делать немислимо высокие и длинные прыжки в стороны, устремляется тоже – в сторону солнышка. Волчок же, увидев его, едва не выпрыгивает из собственной шкуры – за ним. И оба мгновенно и беззвучно скрываются – в белых снегах за рыжими бурьянами, розовой от лучей морозной дымке.

Я останавливаюсь передохнуть, оглядываю вокруг этот залитый солнцем, зачарованный такой прекрасной мир. Медленно иду назад сквозь редкие бурьяны, усыпанные красногрудыми снегирями и ещё стайками каких-то сереньких зимних птах. Все что-то клюют на прошлогодней конопле, лебеде, репейниках, полыни, утоляя голод, осыпая куржак. На меня почти не обращают внимания. Веселы, симпатичны, непугливы и прекрасны эти Божии птахи, посланцы Зимы, предвестники Весны.

Я дохожу уже до берега реки, где за заснеженным рукавом русла наш домик. На реке прорубь, где берём воду, поим корову и овечек, к ней от дома протоптана тропинка.

Отдохнув от быстрого бега, хорошо легко идти по снежному насту в мягких валенках. Вот

уже я у прибрежных тальников и рыжих высоких камышей.

И... о, чудо! Вербы! Вербы раскрыли почти мохнатые дымчатые глазки свои. За которыми я наблюдаю ежегодно – значимая радостная весть – приближение весны – к лету поближе. И каждую весну к Масленице срываю, по обычаю, пяток этих чудесных, пушистых веточек, необычно пахнущих морозцем и просыпающейся жизнью в самой вербе, в преддверии тёплых солнечных денёчков, которые мама ставит на божицу, рядом с иконами.

Подхожу к роскошной иве, проваливаюсь по пояс в рыхлом здесь снегу, взбираюсь на ствол к наиболее роскошным веткам и сламываю пяток самых привлекательных.

Оглядываю окрестности – Волчок ещё не вернулся из погони за зайцем, птицы на бурьянах ещё завтракают, рыжее, теперь, солнышко уже поднялось значительно и, заливая лучами все эти радостные картины, начинает согреть остуженный воздух и снега. Размер уже его не определить на глазок – слепит, кажется – во все небеса. Но – нет же, они, небеса – такие огромные, такие бездонные, что даже солнечным светом не залить их. Его просто не хватит.

Оглядываю с высоты деревню свою. Где изо всех труб домишек и изб валят столбы дыма. Догадываюсь: Масленица – ведь, наверное, теперь, как и мама, все пекут блины. Вон и солнце уже похоже на только что испечённый масляный румяный блин! Можно разглядеть – если взглянуть на него сквозь маленькую щёлочку меж пальцев ладошки. А так не увидишь – ослепляет.

Такое удобно – горячее солнышко! Оно теперь, как и блин, тоже имеет свой приятный аромат – пахнут же распустившиеся почки вербы, что я держу букетом в красной от морозца голой ладони, пахнут свежестью ослепительные снежные чарымы, пахнут в отдалении берёзы едва набухающими почками и своей корою, пахнут бурьяны с копошащими на них птахами, справляющими свою трапезу. А всё вместе, так решаю я – и солнечные лучи, и просторы, и весь весенний воздух с едва уловимым запахом дымков из труб деревни моей – пахнет свежееиспеченными блинами...

Сидя на развилке роскошной ивы, окружённый ветвями с распустившимися мохнатыми почками, оглядываю вновь бурьяны, лес. Появляется оттуда, как бы ниоткуда – Волчок. Плетётся усталый – вывалившийся язык и пасть дымятся паром. Среди бурьянов пёс иногда как бы ныряет по передним лапам, то задними – там наст среди прошлогодних трав менее крепок, и подогретый теперь солнышком – проваливается. И поделом – ему! Пусть учится. А то удумал – за зайцем угнаться по такому крепкому насту...

Пёс уже не бегом, а шагом, подходит к иве, на которой я как в роскошном кресле уселся в развилке, приветливо мне ещё издала улыбается, так же приветливо машет мохнатым хвостом. Слазь – мол, язык – до пола, иногда пёс лижет, хватает, грызёт пастью крепкий, на чистине, здесь, наст – уморился в погоне. Утоляет жажду. Приплёлся, приободрился, вертит хвостом, подпрыгивает, скачет вокруг ивы, по-

визгивает, восторженно взлаивает, не сводя с меня преданных глаз – зовёт домой.

А мне не хочется слезать – здесь, в развилке, так хорошо! Вот моя деревня, заснеженный замерзший омут, вот мой дом с мамой и дымящей трубой на самом краю деревни. Воздух свеж, и даже ещё клочок от утреннего морозца, но так приятен, и оттого кажется, что дышишь самой бодростью. И окрестности начинают ласковей от пронзительно тёплых солнечных взглядов – прогреваться. Смотрю и смотрю опять вокруг, и ещё смотреть хочется...

* * *

Во-о-н – лес! Куда за зайцем сбежал Волчок. Здесь вот, поближе – заснеженное болотце, где я по осени охотился на крякх. Везде в отдалении – голубоватые, если приглядеться, ещё снега, а где низинки – так голубоватые тени гуще. На бурьянах – ещё роскошный куржак, где не успели ещё стряхнуть кормящиеся птахи. А птицы всё ещё завтракают, перелетая стайками время от времени на новые бурьянички, издавая короткие мелодичные звуки...

Рыжий камыш с тёмными метёлками макушек на болотце и здесь, под талинами, где я сижу, на кромке русла реки – тоже. Рыжий – рыжий такой почему-то сегодня, от солнышка, что ли? Яркий такой – под цвет солнышка, с мохнатыми роскошными тёмными метёлочками верхушек. Шелковистыми и блестящими – на фоне ослепительно белых снегов. Хор-ро– шо –то...

А там, за деревней и за нашим домом – тоже белые с голубым просторы лугов, и леса в роскошном убранстве кружев куржака. Я знаю их, как свои пять пальцев те просторы, что скоро – скоро уже с весной оживут, поменяют краски, блики и запахи, и заиграют радостными торжественными звуками пернатых лесных, луговых и озёрных, речных обитателей. Живущих постоянно здесь, и прилетающих шумными стаями с приходом весенних солнечных и пловодных дней. Вот оттуда, из лесов, я слышал уже слабое пощёлкивание, пошпиыванье – то нетерпеливый угольно-чёрный петух-тетерев с роскошным лирообразным хвостом, с ярко красными бровями и таким же гребешком, как я воображаю, пробует первую нынче свою брачную песню.

Хорошо-то как!

* * *

Но поскуливает Волчок, взлаивает, глядя на меня, и глаза такие добрые просящие, и улыбка белозубая – зовёт. Видимо, несколько озяб разгорячённый после никчемной погони – приплясывает, прискакивает...

Я прыгаю с талины в снег и сразу же проваливаюсь по грудь. Волчок – уж тут, как тут. И уже, ввиду своей беспомощности, я им радужно обцелован-облизан в нос и глаза, губы и щёки. Отмахиваюсь от нежностей мохнатого благодетеля, выбираюсь из снежной ямы на твёрдый наст. Иду через реку домой – мимо проруби. Волчок, не потерявший ещё жара любви ко мне после недельной разлуки, всё прыгает вокруг меня, норовя лизнуть в лицо. Я всё время уворачиваюсь, отмахиваюсь. И тогда он начинает хватать меня зубами за рукава фуфайки или за голенища валенок, за рукавицы. Молодой белозубый, серый симпатяга, очень

похожий на волка.

Упавшую с меня в борьбе шапку пёс хватается зубами и мчится по сугробам. Отбежав, садится, положив шапку у своих ног, придавив лапой, поглядывает на меня – приглашает к игре. Сделай я шаг в его сторону – подхватит шапку, помчится дальше. Я это знаю и никаких действий по вызволению шапки не предпринимаю. Волчок посидел-посидел, потеряв к шапке всякий интерес, возвращается ко мне и пытается вновь завязать борьбу за право по навязыванию своих радушных поцелуев, хватаний зубами за одежду – игру по своим понятиям. Где всё решают быстрота реакции, ловкость, скорость и даже – сила. Такие, вот, игры мне тоже очень нравятся! Но, увидев очищенную мамой ото льда прорубь, он переменял решение – бросается к ней, долго и жадно, шумно лакает из неё воду, утоляя жажду. Я беспрепятственно беру шапку, надеваю на остуженную голову, а он нагоняет меня.

* * *

Возле дома в кучке вся живность – козёл пуховый Пудель, так назван был за свою густую шубу, корова Марта – родилась в марте месяце, барашек Борька, что любит ритуально, не во всю силушку, пободаться с козлом, крутыми своими, загнутыми калачиками рогами, да пяток овец, каждая из которых знает своё имя – с ягнятами, гусак с гусыней. Все усталились взглядами на меня – редко бываю дома. На Волчка же – никакого внимания. Он для них – свой в доску. Даже ягнята его не боятся, даже гуси. Но, гусей-то, Волчок опасливо обходит. Гусак с ним строг и предупредительно пошипывает, вытянув в его сторону умную головку с крепким красным клювом. Гусыня так же поддерживает его. Пес старается быстрее проскользнуть мимо крылатого стража – знает, чем может это кончиться. Получить в нос клювом, отчего, аж, искры из глаз или крепкий удар крылом по бокам, в голову – его не устраивает. Но, ни разу Волчок против гусака не огрызнулся – не помню такого.

Вся живность лакомится пахучим зелёным луговым сеном, заготовленным нами с мамой жаркими июльскими днями на Андриковских приозёрных гривках, среди хлебных полей и березняков из благоухающего цветущего разнотравья и вязилей**. Все увлечены, всё мирно и ладком – одна семья. Все понимают друг друга, все довольны и благожелательны друг к другу. Гуси – тоже, переговариваясь меж собой, собирают осыпавшийся трухой душистый сеной листовник.

Пёс проскользнул мимо гусей опасливо, показалось, даже хвост чуть поджав, и тут же напрямиком – к корове, лизнул её в нос. Знает по запаху – чьим молоком угощает его мама. Но корова на такие шалости, бросив жевать, наставила рога предупредительно, но не более – здесь все свои, и приличия этикет – соблюдается. А Волчок уже напрямиком – к крыльцу. На крыльце же – мама – с чашкой молока. Ему это – Волчку. И мне: «Что же ты, сынок, сбежал, не

поев. А я блинов напекла... Масленка сёдни. Пойдём... пойдём...» И подталкивает бочком – к двери...

Ласково так...

* * *

Я не тороплюсь и оглядываю с крыльца заснеженные окрестности, залитые янтарным, весёлым уже солнышком. Голубое небо, голубые глубокие в низинах снега – на приречных и прилесных лугах, на огороде. Деревья в ближних лесах в инее – нарядны и убористы. Сказочно искрятся, щедро освещенные золотистым светом. В конце огорода заснеженная банька у реки – сегодня ещё надо откопать, истопить её да помыться – попариться. Что я очень обожаю...

На дальней изгороди огорода, что со стороны поля – сороки. Уселись в ряд в ожидании какой-либо поживы возле жилья. Тоже – нарядны. Ослепительно белогруды, белобоки, такие чистенькие, торжественные, покачивают длинными фиолетовыми хвостами, балансируют, сидя на кончиках кольев изгороди, молчаливы. Ожидают – чего-либо у жилья и перепадёт...

Волчок уже, довольный, вылизывает чашку из-под молока, гремит ею. Отвлёкся взглядом – благодарно вильнул хвостом. Серый мохнатый товарищ! Но, перехватив мой взгляд, заметил сорок, посеребрил облик: «Гав!». И – пустился, перемашнув у крыльца изгородь – по снегам изо всех сил. Вспугнул всех кумушек, и возвращается – службу по охране надо нести или хотя бы делать вид, что служба идёт. Так я понял это с его стороны...

Заходим с мамой домой. Сестрёнка, ещё не совсем проснувшись, ест блины с молоком и сметаной из двух высоких стопок. А запах-то, запах! Блинов и уже испечённых буханок хлеба, ещё горячих, составленных на ребро в наклон одна на другую на широкой, добела выскобленной лавке, что у печи, на сером опрятном льняном полотенце.

Мама перехватывает мой взгляд и говорит ласково: « Отдыхает хлебушко...»

А глаза такие теплые, ласковые, синие...

Вкусно пахнет-то как!

Она пододвигает мне блюдце со сметаной. И я уплетал, уплетал, свернув трубочкой, макая в сметану такие румяные вкусные мамины блины. Беря из высокой стопки каждый, такой похожий на то Масленичное весеннее солнышко, что в голубых и холодных небесах, такое яркое и светло – беззаботное, отчего эта сцена из детства со всеми подробностями и запахами запомнилась на долгие – долгие годы.

До конца моей жизни...

Навсегда...

* Чарым – крепкая, снежная корка, которая поддерживает зверя и человека, не проваливаясь. (сибирское. – Прим. автора В. Р.)

** Вязиль – заросли мышиного горошка, сено из которого зимой – лакомство для домашнего скота. (сибирское. – Прим. автора В. Р.)